

К СПОРАМ О «ВОРЕ» Л. ЛЕОНОВА

А. ЛЫСОВ

Споры, ведущиеся в настоящее время вокруг первой редакции леоновского «Вора», вызваны, в основном, появлением его новой редакции. Большинство трактовок первой редакции все ярче подтверждает горьковское положение о том, что она «в России не понята и недостаточно оценена»¹. «Вор» 1927 года вдруг стал средоточием авторских ошибок и заблуждений; Леонов обвинен в неофрейдизме, в культе стихийного и подсознательного, критиками допускается возможность сближения автора с советской психологической школой начала двадцатых годов, с ее пресловутой теорией «культурного человека» и «человека — примитива». И весь этот труд совершается при условии, что уж второй-то «Вор» оказался на высоте возложенных на него задач. А многие уже и не мыслят рассмотрение первой редакции без заглядывания во вторую, хотя простая логика подсказывает, что методологически обратный порядок был бы более верным.

Л. П. Овчинникова стремится доказать, что художественный метод первой редакции «...целиком основан на фрейдизме»². Для обоснования этой странной мысли исследователь привлекает и грустную митькину шоколадную бутылочку (как стремление к удовольствию по Фрейду), все векшинские болезни, бред и сны («фрейдизм придает большое значение толкованию снов»), даже соотношение стихийного и сознательного в Векшине, само его движение «от преступления к просветлению» Овчинникова относит на счет того же фрейдизма («Леонов строит зыбкий мостик от бессознательной зависти к обладателю умного зрачка, к осознанию необходимости учебы, но это не противоречит целям фрейдистского психоанализа, а, напротив, соответствует им. Осознание бессознательного — таков лозунг аналитиков!»³. Так или иначе, Овчинникова может оперировать только собственными догадками, так как никаких высказываний ни леоновских, ни сторонних о явной приверженности молодого писателя к теории психоаналитиков не сохранилось, а согласно статье они должны были быть.

¹ А. М. Горький. Собр. соч. в 30-и томах, т. 30, Гослитиздат, М., 1955, стр. 91.

² Л. П. Овчинникова. Две редакции «Вора» и некоторые вопросы эволюции мировоззрения и метода Леонова. «Ученые записки Томского университета», 1966, № 62, стр. 82.

³ Там же, стр. 84.

Ведь речь идет не о случайном поветрии, а об изменении в методе, в общей структуре эстетических воззрений. Прав В. А. Ковалев: «Леонов никогда не превращал подсознательную сферу в начало начал человеческого поведения. Леонов видел в подсознательном недостаток человека, несовершенство, которое надо преодолеть»⁴.

Очевидно, возможность подобных натяжек проистекает из недооценки «Вора» в первой редакции. Многие даже современные исследователи отказывают ей в соответствии вопросам современности 20-х годов, говорят об абстрактной постановке проблем гуманизма и культуры, об испуге молодого Леонова перед эпэмом, о несовместимости мира московского «блата» с высокими нравственно-этическими идеями. Первая редакция «Вора» обвиняется в том, что не вывела нас «на стремнину исторического потока, где в действительности можно было бы подсмотреть те формы, которые принимала борьба за революцию в мирный период... Леонов ввел нас в некую лабораторную среду, где была не жизнь, а только ее условные проекции, в сферу чистой мысли...»⁵. «Ошибка Леонова заключалась в том, что в основу книги была взята не действительность, а идея»⁶. «Леонов стремился к воссозданию во всей ее сложности интеллектуальной жизни эпохи, и блат был плохой площадкой для его замысла»⁷. Но почему-то центр тяжести этих обвинений падает только на первую редакцию, в то время как и во второй мыслят воры, и во второй редакции мир представлен в атмосфере интеллектуальной борьбы. В пылу полемики почему-то забывается, что обе редакции — романы философские и могут претендовать на еще большую условность, хотя налицо все же естественное воплощение идеи. Е. Сурков идет дальше. Его недоверие к первой редакции столь явно, что, определяя проблемы 20-х годов, он пользуется цитатами второй редакции, которые не встречаются в редакции 1927 года. Вторая редакция романа вызвана совершенно иными условиями, чем первая, написана с высот нового исторического знания и направлена прежде всего к проблемам современности в узком смысле. Поэтому Е. Сурков незаметно для себя впадает в подмену проблемы. Самозабвенно приписывает он первой редакции отличительные особенности второй, повсеместно пользуется фирсовским дневником и его же речениями о блестинке, а также заключительной статьей

⁴ В. А. Ковалев. Творчество Леонида Леонова. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 238.

⁵ Е. Сурков. Проблемы века — проблемы художника. «Знамя», 1968, № 10, стр. 226.

⁶ Л. П. Овчинникова. Две редакции «Вора» и некоторые вопросы эволюции мировоззрения и метода Леонова. — «Ученые записки Томского университета», 1966, № 62, стр. 84.

⁷ М. А. Бенъкович. Роман Л. Леонова «Вор» и проблемы художественного единства. — «Доклады высшей школы», Филологические науки, 1967, № 1, стр. 5.

того же Фирсова (о чем в первой редакции «Вора» нет и упоминания). Все это кажется тем более странным, т. к. речь идет о Леонове 20-х годов и статья в подзаголовке предлагает рассмотреть эволюцию леоновского гуманизма⁸.

Хотя немало исследователей леоновского творчества не без удовольствия подписались бы под этим актом нерасчлененности обеих редакций; например, Овчинникова до сих пор находится в убеждении, что молодой Леонов и Фирсов второй редакции одно и то же лицо. «Если в первом варианте автор мог маскировать свои еще не определившиеся взгляды, используя фигуру Фирсова..., то в редакции 1959 года этот принцип оказался удобным для спора с самим собой, двадцатипятилетним автором первой редакции»⁹. Об этом же пишет В. А. Ковалев: «Раньше автор сливался с Фирсовым, теперь яснее проведено критическое отношение к персонажу»¹⁰.

Возможность появления подобных трактовок связана с особенностями творчества Л. Леонова. Диапазон нравственных метаний и социального поиска у леоновского героя настолько широк и противоречив, что любое отдельное извлечение его мысли, чувства, поступка вне целостного восприятия героя приводит к неверному пониманию его характера, а следовательно, и к искажению истины. Многие просчеты критики определены ее чрезмерной увлеченностью внешней логической схемой романа при полном игнорировании сложнейших социальных проблем, выдвинутых Леоновым в первой редакции.

* * *

Во вторую редакцию «Вора» Леонов внес значительный исторический корректив, но тем не менее первая редакция не потеряла своей значимости, верно отразила основные процессы 20-х годов. Леонов уже в ранний период своего творчества был далек от троцкистских излияний о страшном пути, на который ступила революция, от фрейдистской кабалы в своих исканиях, от всех ярлыков, которые навешала на первую редакцию тогдашняя критика. Но вместе с тем он оказывался как бы в стороне от тех кардинальных проблем, которые решались в то время молодой советской литературой. Он обращается не к горячечным схваткам «песенной поры», а к самому «недоделанному» в революции, к проблемам культуры. Леонов исходил из верной исторической посылки — необходимости культурной революции, благодаря

⁸ Е. Сурков. Проблемы века—проблемы художника (О развитии и своеобразии леоновского гуманизма). — «Знамя», 1968, № 10.

⁹ Л. П. Овчинникова. Две редакции «Вора» и некоторые вопросы эволюции мировоззрения и метода Леонова. «Ученые записки Томского университета», 1966, № 62, стр. 79.

¹⁰ В. А. Ковалев. Творчество Л. Леонова. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 261.

чему вся формально-логическая система доказательств, представленная в первой редакции «Вора», ровно улеглась в историческую канву. Е. Сурков утверждает, что проблематика первой редакции романа определена полемикой Леонова с Достоевским, а тема культуры рассматривается лишь в одном срезе «... в каком отношении находится революция к старым концепциям гуманизма»¹¹. Однако такая трактовка проблематики леоновского романа кажется нам несколько суженной.

Уже в первой редакции, преодолевая «Достоевского и другие дебри»¹², Леонов зорко всматривается в перспективы развития революции. Поэтому тему культуры и переплетенные с ней проблемы гуманизма молодой автор тесно связывает с вопросами формирования нового человека. Благодаря этим раздумьям Леонова роман не отрывается от реальных путей революции, отвечает на главные устремления современности. Леоновская мысль: «Какую длительную работу должно провести человечество над своими сынами»¹³ не покидает страниц первой редакции.

Леонов не показывает нам «как Митька стал хорошим», авторский взгляд сопровождает Векшина лишь до того перевала, за которым начинается новый человек. И это естественно. Автор «Вора» в первой редакции устанавливает долгий путь движения идеологии к психологии и наоборот, предостерегает от скоропалительных выводов о появлении нового человека. «... некоторым участникам борьбы за новый строй не хватало морально-культурных накоплений. Что они могли сделать. Это достигается даже не в одну пятилетку»¹⁴. Леонов дает нам далекую перспективу роста нового, устанавливает огромные дистанции духовного восхождения. И, несомненно, главным становится вопрос об условиях, приняв которые человек переходит к новой духовной сущности, становится на более высокую ступень культурного развития. Именно проблемой нового человека вызван этот точный и емкий логарифм «блестинки», представляющей собой сложный синтез гуманистических и культурных начал, без приобретения которых становится невозможным появление нового человека.

На первый взгляд может показаться удивительным и странным тот факт, почему, узнав об убийстве Векшиным безоружного офицера, Фирсов действительно начинает искать встречи с Митькой и столь же упорно, «нашивает» Векшину идею «культурной революции». Дело в том, что узел проблемы, центр тяжести романа, приходится на этот векшинский проступок. И в зависимости от того, как расценит его сам

¹¹ Е. Сурков. Проблемы века — проблемы художника. — «Знамя», 1968, № 10, стр. 227.

¹² А. М. Горький. Из письма к И. А. Груздеву. — «Звезда», 1961, № 1, стр. 153.

¹³ Е. Старикова. Леонид Леонов о писательском труде. — «Знамя», 1961, № 4, стр. 182.

¹⁴ В. А. Ковалев. Творчество Леонида Леонова. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 236.

Векшин, решится и весь сложный комплекс задач, выдвинутых первой редакцией, в том числе и самая главная — сможет ли Векшин подняться из «пепла» и дойти до перевала, за которым начинается новый человек. И как бы Векшин ни прорывался к свету, какие бы пути ни изыскивал, везде непреодолимым барьером будет для него эта роковая ночь, озаренная магическим блеском в глазах векшинской жертвы.

Расстановка сил в романе предельно строга, не допускает никаких лазеек и отказов от основного вопроса «Виновен ли Векшин в убийстве?». И каждое решение приводит Митьку в тот или иной лагерь протоборствующих сторон.

Если Векшин не признаёт себя виновным в убийстве безоружного человека, пойдет на разрыв с гуманистической традицией, то эта нравственная позиция приведет его на тропу Аггея. (По верному замечанию Е. Суркова, Аггей и есть как раз тот, вызванный Достоевским человек, который все себе позволил.) На это сближение Векшина и убийцы Столярова недвусмысленно указывает в первой редакции и сам автор в душном признании Аггея: «Обозорнел вконец; как атака семь штук наколю, как светлого воскресенья атаки ждал. *Руку раз отрезал* и к командиру отнес»¹⁵. Во второй редакции это снято: Леонов приводит более четкие доказательства причастности Векшина к аггеевой тропе. Этот путь приводит Векшина к анархическому бунту, отдаляя его от русла, по которому идет течение революции.

Векшин отшатнулся от аггеевой трупной ямы. Но Леонов предоставляет ему возможность занять иную нравственную позицию — принять идеи Чикилева. Этот путь усматривает необязательность признания своей вины, направлен на уничтожение нравственной мысли. Разве не символичны в романе сцены, где вконец опустошенный Векшин живет в комнате Зинки Балугево, будущей супруги Чикилева. «Благонравный преддомкома» подкармливает своего соперника, содержит его на свои деньги, го всей вероятности, за признание Векшиным его знаменитейшего высказывания: «Того, кто истребит мысль, вознесет благодарное человечество в памяти своей» (1,218). Именно этот период векшинской биографии отмечен бредовым состоянием, бездушием и пустотой. Вся его духовная энергия уходит на подавление в себе нравственной мысли.

Отказ от оправданного убийства на правилке вырывает Векшина из обоих лагерей, возвращает его к сложившемуся «на перегоне двух эпох» революционному братству. И движение его на одну «всесибирскую реку» определено в конечном счете не советами зинкиного брата,

¹⁵ Л. М. Леонов. Вор. Гослитиздат, М., 1936, стр. 110. В дальнейшем цитаты из первой редакции «Вора» приводятся по этому изданию с указанием редакции и страницы.

не наставлениями Аташеза, а мучительным индивидуальным поиском, состоявшегося по всем законам русского национального характера. Из признания Векшиным своей вины следует множество необходимо важных для молодого Леонова выводов. Это прежде всего доказывает, что революция не отменяет человеческого нравственного опыта, и новая мораль, какие бы формы она ни приняла, обязана поставить в центре ценность каждого человеческого бытия. Каждый человек представляет собой звено в великой и нерасторжимой цепи восхождения человечества к счастью. Новый человек невозможен без принятия старой гуманистической тенденции, без постижения культуры. А иначе у нас все может получиться «в высшей степени наоборот».

Таким образом, философский костяк романа представляет собой стройный треугольник, во главе угла которого находится «блестинка», которую, признав свою вину, обязан принять Векшин, а в противостоящих ей углах находятся Чикилев и Аггей. И через эту систему взаимоотношений и отталкиваний проводит Леонов своего первого Векшина.

Исходя из этой внешней логической схемы, Овчинникова пытается доказать, что приход Векшина к культуре социально не детерминирован, а обусловлен лишь стихийными стремлениями. «Герой не соприкасаясь с... требованиями эпохи, с реальными путями культурной революции в стране приходил к осознанию овладения культурой по внутренним психологическим законам, варясь в собственном соку»¹⁶. Трудно с этим согласиться, хотя на первый взгляд именно таким предстает перед нами нравственное движение Векшина. Но всё же Леонов далек здесь от метода так называемого «самодовлеющего психологизма», настолько же далек он и от Фрейда. Болезненное вынашивание Митькой нравственной идеи, «вредная его задумчивость» скорее всего идет от леоновского понимания национального русского характера, и это неминуемо проводит автора через «Достоевского и другие дебри». Это и определяет склонность Векшина к особому внутреннему самоуглублению, к крайним психологическим полюсам духовных метаний (от молниеносного удара шашки до шниферской лапы, до попытки оправданного убийства — крайней точки его падения, и обратно, к восстановлению, «вперед и вверх», к знанию, солнцу, людям).

Крайние полюсы митькиных духовных исканий во многом определяются и проходящим нэпом. Если удар сабли оказался прологом к нравственным его метаниям, то удар нэпманской перчатки открывает нам иную, социальную подоплеку векшинского бунта. Начинается на весь роман затянувшаяся тяжба Векшина с нэпом; Векшин вырван из полосы оцепенения и приходит к ярому неприятию нарождающейся мелкобуржуазной стихии. Он растерян, если все вернулось в «круги своя»,

вновь «жизнь измеряется мелким ранжиром», опять руки торговков в жемчугах, то зачем вершилось великое, «зачем выиграла русская душа перед невиданным своим цветением». С самого детства в Векшине заложены два желания: мечта о справедливости и всеобщем благе, а также удовлетворение небогатых своих потребностей. Революция легко удовлетворила нехитрые его желания: «Все достигнуто, Пчхов. Маленький был, шоколадную бутылочку захотелось. И не надо бы было, да вот кинули монетку и сломалось. Потом офицерский конь влюбился мне, такой с каштанчиком, такой приятный. Разыскал, взял. Два дня на царской кровати спал... мягко, а облегчения нет. Встал утром, плюнул и ушел. Еще выше над человеком власть. И была ночь на фронте. Всё пройдено и узнано, Пчхов. Об туман истерлось мое хотение» (1,241). Все достигнуто Векшиным, только все пути к человеческому счастью и справедливости, ради которого вершилось небывалое, перекрыты энпом. Векшин отходит от революции, ступает на путь индивидуалистического бунта. Его захватывает жестокая романтика мщения энпу, душастему светлые идеалы, влечет к себе страшная схватка со «стальными медведями». Вор «с идеей», Векшин через весь свой долгий путь пронесит чувство святости революционного дела, за которое сражался, будучи красным комиссаром, но индивидуалистическое сознание не могло не отложить никаких минералов на ясных берегах его души. В качестве борца за справедливость и здесь он скатывается на аггееву тропу (ведь и об Аггее распевали в лагерях песни, называвшие его «народным мстителем».)

Сбываются предсказания Аташеза: «Я тебе объясню, почему нельзя шашкой махать. В такой тесноте можно и своих задеть» (1,125). И действительно, на пути «абсолютного узурпаторства» Векшин более всего вредит своим (это и ограбление сестры, и нападение на жирного «аташезова медведя», и отобранные у Саньки «чистые деньги»). На чьих деньгах, как не на уведенных из государственной казны, построил свое благосостояние Пирман, злейший митькин враг. Ведь, выкупая сестру, Векшин чуть было не помог Заварихину стать «главой фирмы». Еще совсем недавно векшинский мозг не мирился с подменой и распылением, с «подглядыванием в шелку». А вот он уже на коленях перед дверьми Саньки Бабкина подсматривает в замочную скважину. Борясь против зла, Векшин незаметно для себя, в силу своего произвола, поддерживает своего врага и истощает в этом сизифовом труде свои недюжинные силы.

Всей логикой событий и накоплением деталей Леонов доказывает, что революция жива, но сколько внимания и доброты нужно новой власти, чтобы встали и процвели появившиеся из-под обломков старого жизнеспособные ростки нового. («Пиджак Аташеза распахнулся, как

будто это была та самая знаменитая бурка» (1,125). «Думаю, что ты дороже сорока тысяч стоишь, много дадено тебе, а все тратишь впустую» (1,379). «Мы нищие, копейки экономим, а заливаем электричеством страну, мы строим» (1,125).

И здесь, поддержанный Аташезом, подгоняемый своей социальной бездомностью и бездорожьем, Векшин отшатывается от зыбкой аггеевой тропы и от сытого мещанского благополучия (отказ от Доломановой со всеми предварительными рассуждениями о мещанском счастье). Воскрешение «самохотенно убивающего себя Димитрия» идет по пути отталкивания от нэпа, от пародийных фигур Чикилева, гуталинового короля, «радиолюбителя» Пирмана и кровного нарождающегося врага Заварихина. С другой стороны, это определено преследованием светлого революционного идеала в тяготении к очищению. Стоя на земле своих предков, уже сердцем начинает он понимать то, к чему долго приходил смятением своим разумом: «Неиссякаемая земля, да беззвездное небо, в котором скользнет случайный метеор, да всколыхнется зарево далекого пожара. Вот, где нужны они, электрические вожжи. Разбродную, бессмысленно текущую по равнинам истории людскую гущу направить на общую умную турбину и выплавить, очищенную от дряни, великую человеческую силу. По ту сторону турбины и будет новый человек» (1,294). «Он встал совершенно новым человеком, и мир ему стал нов» (1,295). И весь путь Векшина помечен приближением этого нового этапа. «Я, Маша, крепкий человек, не всегда человека делает его оболочка» (1,91). «Выберусь, Егор Векшин, если хватит сил не всегда же ходить в подлецах» (1,249).

Навсегда утрачена для Векшина Таня, невозвратимой оказывается и страна детства, отходит от него Доломанова, рвутся связи и отношения (Аташез, Санька, Ксения, Зинка), оставляя Векшина в одиночестве со своей нелегкой думой. Но это и есть этапы митькиного просветления. Он ощущает духовный рост, новый акт своего рождения. «А, может, я заново рождаюсь... Я потерялся, сбился с ног» (1,121). Но преобразование Векшина определено все же волей победившей революции: приход его к учебе стал возможен лишь тогда, когда «великая пора учебы наступила в стране» (1,459).

Таковы два потока в возрождении Векшина из пепла «скрепленного обручами воли». Таковы естественные выводы о необходимости поворота к культуре, возникшие из более векшинского излома. В первой редакции романа Леонову удалось из осколка молота, «на котором тоже сказалась сила удара», выковать прочное звено в цепи восхождения человечества к счастью, звено сомкнувшее старые гуманистические ценности с новыми, нарождающимися.

Некогда воинов-стрелков набирали в дружины при условии совершенства их зрения. Диковатый тогдашний призывник ставился под открытое звездное небо и должен был увидеть на изгибе ковша Большой Медведицы восьмую, от ординарного зрения сокрытую звезду. И только эта способность открывала стрелку путь в дружину.

Мы всегда говорили об особенностях зрения художника, по остроте своей родственного стрелку. На изгибе новейшей истории Леонову открылась эта восьмая звезда в образе емкого логарифма — «блестинки» культурного наследия и он не преминул сделать ее спутником «оторвавшейся планеты». Это был первый, как «смерч», как «комета», как «метеор» скользнувший по началу века, первый Дмитрий Векшин. Ему отдавалась, «не подлежащая национализации», но столь необходимая в будущем движении мира и человека блестинка. Все силы дарования и юности, романтический строй души, прекрасная вера в новое были отданы этому взвихренному, одержимому идеей святости революции, любимому и ненавидимому, сильному и слабому, первому своему Векшину.

Но изгиб нэпа приходился на ручку ковша Большой Медведицы, в то время как история шла к его содержимому. Что же увидел, что понял Леонов, стоя через тридцать лет под небосклоном современности? Прежде всего оказалось, что нет той заплутавшей планетки Векшина, а просто недоброй тучей пронесся он по небосклону, застывая включенным своим следом «разумное расположение светил».

Действительно, сравнивая первую и вторую редакции, невозможно остаться неозадаченным тем обстоятельством, как в одно и то же содержание несколькими штрихами внесено огромное различие, как из одной исторической натуры диалектически выявляется иная, от первой отличная, ей противостоящая. Из оступившегося человека вырастает образ сытого, «привыкшего к своему положению вора».

Смысл позитивного отношения к Векшину первой редакции заключается в видении отдаленной перспективы своего героя; читатель чувствует, что это только мертвая точка маятника, что в герое заключена потенциальная энергия движения «вперед и выше», передвигающая стрелки современности. В будущем Векшина были уверены все: тот же Аггей и Доломанова, и Пчхов, и Зинка, и Аташез, а также восторженный, захлебывающийся Фирсов и не менее в Митьку влюбленный автор.

Во второй редакции эта перспектива снимается. Создается совершенно новая, отличная от первой атмосфера неблагополучия, чего-то подленького, черненького в духовном портрете героя. Это все до предела сжато постоянными доломановскими недомолвками, намеками

на страшную митькину тайну. Ожидание ее объяснений отбрасывает серые тени и на самого Векшина. Каждый поступок Векшина рассматривается особым пристрастным нравственным зрением, в каждом действии героя отыскивается след недоброй его тайны.

Но что же всё-таки произошло, если сохранены все сюжетные ходы, герои, связи, а Векшин кажется иным? Работа над сопоставлением двух редакций раскрывает нам в полной мере принципы развенчивания столь любимого ранее героя.

Нам это видится в следующем срезе: если какой-либо фрукт, сливу, например, разделить на две части, то одна половина останется с косточкой, а другая предстанет как мягкая с кожуркой масса. Подобный эксперимент был произведен Леоновым над Векшиным 27-го года. Леонов разделил этот образ надвое, предварительно сняв с «фрукта» известную романтическую пыльцу. Часть с костяком философских размышлений и логических доказательств была отдана alter ego Векшина — Дмитрию Смурову, то есть фирсовской трактовке образа, а вторая, бескостная, но еще истекающая соком половинка оставлена Векшину, так как с ним, в основном, Леонов связывает социальное движение.

Это разделение основано на передаче многих глав, преимущественно философского содержания, Фирсову, причем на крайне логичных основаниях. Площадь, занимаемую фирсовской повестью в романе, можно установить по непосредственным замечаниям Леонова, утверждающим факт передоверения той или иной главы романа Фирсову, сравнением глав с фирсовской статьей и его записной книжкой, выделением частей фирсовского повествования, включенного в «леоновский» текст и, наконец, исходя из общей системы взглядов Фирсова и логики характеров. Прodelав подобный труд, можно установить, что Леонов пошел по пути четкого размежевания (а это уже было заложено в первой редакции) Векшина и Векшина-Смурова.

Строго следуя принципу социальной детерминированности, Леонов не оставляет на сей раз своего героя в философической чистоте после воровского промысла. С каждым выпотрошенным сейфом углубляется бездна векшинского индивидуализма, оторванный от труда постепенно покрывается бунтующий шнифер серым колоритом иждевенческой философии.

Попытаемся установить законы развития векшинского характера. Начнем с нелегкого, голодного, от большого мира отгороженного детства Векшина. В это время как в точном фокусе и концентрируются три тонких лучика, которые по мере отдаления векшинского детства будут отражаться на Митьке различными прямыми или искажёнными проекциями. 1) «Клокачев Андрей. Долой насилие». Эти слова и смутные речи фотографа начинают первую линию любви Векшина к отда-

ленному человечеству. Закладываясь в корешках как стройное дерево, идея любви к миру получила у Векшина корявое воплощение. Отсюда же идет и ненависть Митьки к буржуям. Он возненавидел случайную благодетельницу, бросившую ему монетку. 2) «Шоколадная бутылочка». «Митька съел ее с вопросительным удивлением, прежде чем понял смысл своего предосудительного поступка против подружки и семьи»¹⁶. Это уже факт индивидуалистического сознания, оправдываемого пока эгоизмом детства, но ведь дело в дальнейших, все увеличивающихся проекциях. 3) Колечко с нежнейшей бирюсинкой. Это лучик нежности, доброты и внимательности к людям. И в дальнейшем «при каждой неминуемой при переездах укладке вещей Мите встречалось на дне сундучка так и не подаренное кольцо со слезинкой бирюзы, какая б не случалась спешка, он всякий раз подолгу... всматривался в юношеское воспоминание» (2,83). Эти три потока детства, пройдя сквозь векшинское сознание в сложнейших лаокооновских переплетениях сопутствуют ему всю жизнь.

Движимый идеей всеобщего блага, удовлетворением собственных желаний, влекомый левацкими настроениями юности, приходит Векшин в революцию. Геронзм его ставится под сомнение, ибо Фирсов приукрасил экзотическим колером эти незабываемые дни. Прошло безнаказанно убийство безоружного офицера, «мало ли в ту пору бывало по обе стороны фронта проявлений взаимного ожесточения» (2,53), разве что от разгульной русской тоски пришлось переключать Векшина в рядовые. После войны растерянным и неподготовленным к «установке на мелочь» оказался бывший красный комиссар, встал на путь озлобленного мщения нарождающейся буржуазии. Прикрываясь любовью к человечеству, оправдывая себя идеей о всемирном благе, берет в руки бывший революционер «шниферскую лапу». Он старается уверить себя, что «партизанит против старого ненавистного ему мира», ибо «действует исключительно по линии частной торговли» (2,57).

В первой части Векшин почти не говорит, если не брать во внимание его краткие реплики да разговор с Аташезом. Но из этих немногих слов встает образ человека «военной решимости», (не следует забывать, что роман прошел и тридцать седьмой и сорок первый год) усвоившего к людям, даже к сестре, тон высокомерия и насмешки. Этому способствуют также точные авторские коррективы в интонациях векшинского голоса: «опросил он», «бросил он с колючим вызовом», «угрожающе пошевелился Векшин», «сухо одернул Митька», «жестко улыбнулся», «подсократил затянувшееся признание» и т. д. Из этих коротких авторских характеристик и вытекает несовместимость идеи о

¹⁶ Л. М. Леонов. Вор. Изд. «Советский писатель», М., 1967, стр. 72. В дальнейшем цитаты из второй редакции приводятся по этому изданию с указанием редакции и страницы.

людском благе и небрежного отношения к самим людям, открывается истинная сущность отношения к людской боли нечуткого и холодного Векшина.

Все отношения Митьки погорели на его упорном, демагогически толкуемом неприятии мещанского счастья. В болезненном преследовании абстрактной идеи о всеобщем счастье он везде старается погубить жизненное прямое его проявление, точнее, в каждом умерщвленном Векшинным счастье находит отрицание свое и сама векшинская идея.

По закону русского характера Векшин прежде всего отвел себя от устроенности и блага. В том, что Маша была захватана Аггеем, видит он особый символический знак, приносящий ему облегчение, что теперь он может не домогаться вьюговой руки. Но тем страшнее становится векшинское неприятие и непонимание счастья других. Везде ему мерещится обывательская трясина, «сладчайший ил» мещанского благополучия. Так происходит ограбление Санькиного счастья. Векшин перекрывает все пути ухода Саньки Бабкина от «блатаков», отбирает трудом заработанные и по крохам собранные «чистые деньги», не желая вникать в сущность этого грабежа, не поняв отчаянного Санькиного бунта. В летопись векшинских «подвигов» должна быть занесена и смерть Ксении, «по-русалочьи затягивавшей пригодного для походов бойца» (2,351). Митьке приходится разделить с Заварихиным и вину в Таниной гибели. «Как знаменательно, что даже в нынешних обстоятельствах он (Векшин), не задумываясь, выбивал из-под нее последнюю ее поддержку» (2,568).

Каждое ограбление, производимое Векшиным, носит не только материальный, но и духовный характер. Леонов диалектически открывает нравственную сторону вещей, доказывая, что в человеческом мире материальный предмет в руках человека получает духовную, моральную сущность. Это и шоколадная бутылочка, как акт индивидуалистического сознания, и чикилевские деньги, принятие которых знаменует в векшинской биографии период подавления нравственной мысли, и, особенно, колечко с кудемским лучиком. Если первая редакция, полная романтического гормона, соединяла блоковскую Незнакомку и русского Ракомболя, если лучик Кудемы, принесенный из детства в бирюзовом колечке, проникал в сердца сквозь «разрезанные жилетки», то теперь колечко, оставаясь нравственным логарифмом, служит делу развенчания этого чувства у Векшина и Доломановой. Как оба они стремятся освободиться от этого кольца, оно жжет им пальцы, становится тесным, не по руке, как страшен для обоих этот лучик святости и доброты безмятежной юности! Колечко попадает к Аташезу, вывалившись вместе с оставленными деньгами, Аташез возвращает его владельцу, и в Артемьевом шалмане, натершее палец Векшину, передается оно действительной его владелице. Но и она не выдерживает ла-

зурного сияния слезинки на грошовом, но теперь бесценном золотом ободке. Кольцо начинает служить орудием мщения, водворяется на руку векшинского соперника, но и Донька, напуганный лазурным лучиком, оборачивает бирюсинку внутрь руки.

В плане социального движения героя Леонов также не оставляет никаких сомнений в несуразности шниферской лапы в руках революционера, свершения зла именем революции. Аташез сразу раскусывает смысл векшинского «заболевания». Каким демагогом предстает здесь Векшин! Он так и сыплет цифрами из запомнившихся ему столбцов газет, на ходу придумывая «показатели и проценты высоких преуспеваний», из всего этого вырисовывается равнодушное отношение благушинского Гамлета к делам молодой республики.

Сражаясь с «гидрой нэпа», Векшин в перерыве между боями подкармливает ее то самим собой, то подвернувшимся доверчивым соратником. (Как мы отмечали, подобная оказия случилась и с незадачливым героем первой редакции.) Только благодаря векшинской распорядительности процвел Пирман, на векшинские «нечистые» деньги зарится ненасытный Заварихин, на растроченные в пьяном угаре даровые рубли существует и Артемьев. Все по той же странной рассеянности Векшина состоялась вверительная передача Зинки Балуевой Чикилеву (через ту же нравственную сторону денег).

Но не следует, впадая в дурную тональность пасквиля, полностью охлаждать температурный режим, созданный автором вокруг своего героя. Леонов не теряет веру в рождение нового человека, но устанавливает более широкие требования человеческой нравственности, а, соответственно, увеличивает дистанцию духовного восхождения. Это вытекает из мысли о том, что человек растет из подручного, доступного психического материала, из самого себя, путем ошибок, оплошностей, обид, разочарований, и от каждого происшедшего с ним события идет к прозрению, к новой духовной сущности. Это подтверждается леонтиевой притчей о мужике и велосипеде, сделанном из «самолучшего» дуба. На вопрос Векшина: «Кто же из дерева машину строит?» — Леонтий отвечает: «Так ведь иного-то под рукой не имел. Человек из того сочиняет, что перед его глазами лежит» (2,336).

Прозрение Векшина начинается со дня скитания по лесу «в золотом сне детства». Здесь он начинает ощущать, что великое уже началось, он опоздал — «начала уже не видно за горизонтом». Здесь же и рождается у него потребность «своим умом унять себя», появляется мысль о коммунизме, «как о могущественной умной турбине, вращаемой объединенным, бессмертным, всечеловеческим усилием» (2,443). Наступил период неумелых, но уже неумных размышлений Векшина о земном предназначении человека.

Леонов утверждает, как важна эта, пропущенная через сердце минута человеческого озарения. У личности бывает много формальных юридических моментов, после которых она должна становиться иной, но законодательство и реформа мало что могут изменить в человеке, если они не станут актом его психологии «... не с повышения в должности или с получения диплома, не с переезда на новую квартиру или приобретения лишней пары обуви, а как раз с несвойственных зачастую неуклюжих мыслей začínается новый человек» (2,360).

Таким образом, Леонов за заблудившимся, сбившимся с пути Векшиным оставляет право на участие в великой плавке, в результате которой и родится новый человек. А вдруг обманет? Это Леонов оставляет за рамками своего и фирсовского повествования.

А пока на страницах романа идет борьба за и против Векшина. Рассказом Доломановой открывается ведущая черта в характере Векшина: он равнодушен к людям, а его идея о всеобщем благе является всего лишь распиской индивидуализму и социальному эгоизму. Векшин может «хуже смерти причинить и не заметить» (2,499). Узел проблемы во второй редакции смещен со сцены убийства безоружного офицера к трагедии Маши Доломановой, ибо этот проступок Митьки оказался законом его этики и стал прологом ко всем преступлениям, взятым Векшиным на свою совесть, (включая и убийство офицера). То, что навсегда останется неизвестным Фирсову, то, что Векшин забыл по причине своего «передовизма», открывает смятенной Тане Манька Вьюга. В годы романтической юности Векшин нелегально прнехал в Рогово, назначил Доломановой встречу, но на свидание не пришел. Задержался на заседании, где говорил «про всемирное счастье что-нибудь». «Он в ту пору большой общественник был. И тут, пока, прохаживаясь, забля недотрога... Аггейка из кусточков и вышагнул» (2,497). Случилось непоправимое, Аггей надругался над Машей.

Разоблачение отвлеченной идеи о всеобщем благе требовало позитивного решения. Леонов находит простые, скупые до слезной ясности слова: «А только мнится мне, видно, по блатной моей ннзности, что, кабы побольше людям вниманьица оказывали, оно бы и горюхи поменьше бы стало на земле» (2,500). Это и составляет после снятия напряжений высшую просветленную правду. Теперь совсем в ином свете предстает дальнейшее движение Векшина. Леонов лишает его права планетарности, солнечной сущности. «Может быть пора бы ему не сгореть, так разбиться в разлете своего падения, а он все торчал перед глазами, застрявший на небосклоне метеор, примелькавшийся до пошлой обыкновенности, способный вызвать зависть, панибратство, озлобление» (2,530). Векшин теперь — это обломок великого российско-го перелома, «осколок не от разбитой твердыни, а от раздробившего ее молота, на котором тоже сказалась сила удара» (2,539).

Драма социального прозрения наступает у Векшина в салоне у Ба-ташихи. Рассматривая обстановку комнаты, носящую печать разлада и разложения, Векшин приходит к выводу, что революция скоро прекратит этот «разброд душ» и «чувство самосохранения подсказало Векшину, что нужно уходить немедленно, куда глаза глядят» (2,575).

«Круг смыкался, идти было некуда... не оставалось у Векшина выхода из замкнутого круга» (2,615). Путь у Векшина теперь один: на смыке замкнутого кольца можно было пройти только через кудемскую бирюсинку, начать с того мига, когда его впервые потянуло сделать доброе. Это значило, что трудом и открытым сердцем должен он был возвращать себе утраченное имя, распыленное им расположение и дружбу людей. И как в давние времена, проходившие у живописных берегов Кудемы, так и теперь снова устремился Векшин к одной «всесибирской реке». А что произошло дальше — автор оставляет нас в неизвестности уповать на Митькино преображение.

Таким образом, во второй редакции вопросы гуманизма, культуры, нового человека предстают уже в ином плане. Узел проблемы смещен, центр тяжести романа падает на сцену несостоявшегося свидания Векшина и Доломановой; ведь от того, признаёт себя Векшин убийцей офицера или нет, суть дела не меняется, ибо этот проступок есть реальное следствие «железности» Векшина, его безликой любви к человечеству, которые наиболее ярко проявились в сцене забытого свидания. Следовательно, в решении проблем гуманизма и культуры вторая редакция качественно отличается от первой; она не только соединяет новую этику с нравственными накоплениями предыдущих поколений, но и вырабатывает принципы новой социалистической морали. Не христианская, на всех поровну и безлико делённая любовь, не отвлечённая идея о счастье «туманного и отдалённого» человечества, а чуткость, внимание, деятельная, от сердца идущая любовь к людям — в этом и заключён основной пафос романа. Но такое понимание новой морали рождает и повышенные требования к человеческой личности и поэтому перспектива появления нового человека отдалается, остаётся за рамками повествования.

Далее мы не можем не остановиться на философской половине Векшина, втором Дмитрие Векшине, то есть на фирсовской трактовке образа. Как и в первой редакции, Фирсов останавливает свое внимание на ударе векшинской шашки. Он, естественно, рассматривает этот проступок как шаг от подвига к убийству. «Удар векшинской шашки. Библейская заповедь «не убий» имела в виду не частное, а общественное поведение человека» (2,516). Значит, Векшин совершил убийство. Но может быть «ценность человеческой жизни обратно пропорциональна величию идеи, государства, эпохи» (2,516). Значит, Векшин совершил подвиг. «Так в чем же истинный гуманизм — в утверждении неповто-

римой святости каждого человеческого бытия, или в преодолении этого древнего табу?» (2,516).

Разрешение этой проблемы дает очень много и Леонову, и Фирсову (последний ведь не располагает доломановской тайной о вине Векшина перед ней, и узел проблемы в его повестушке относится к сцене убийства безоружного офицера). Прежде всего позитивное решение. Если истинный гуманизм заключается все-таки в утверждении святости человеческой жизни, то, чем величественнее идея эпохи, тем важнее и бесценнее становится жизнь каждого человека, в сущности претворяющего в действительность эту идею..

то государство должно основываться на принципах активного гуманизма, быть внимательным и чутким к проявлению ростков нового..

то «на сегодняшнем повороте истории мало одного оптимизма и удалства, как, наверно, недостаточно и реформаторского вдохновения. Крайне желательно даже высочайшее веление ума проверять прозрениями большого сердца»¹⁷,

то мир вступает «в такую полосу, когда человечество все больше станет нуждаться не в генералах, ученых или философах, а в людях просто великого сердца» (2,521),

то посредством сердца сократится разрыв между идеологией и психологией, громадной станет площадь соприкосновения общественного и личного,

то прогресс предстанет как единая стройная система, увеличивающаяся проекция от маленького синего огонька, зажжённого в пещере, до общества «достигшего всяческих благ», и каждый этап человеческого восхождения к счастью будет не только отрицанием предыдущего этапа, но и преемником лучших ценностей его и традиций.

По отношению к Векшину признание ценности каждой человеческой жизни приводит к следующим выводам: 1. Векшин должен признать, что совершил убийство. 2. Совершил убийство человека, в блестинке глаз которого заключены культурные накопления предшествующих поколений, в то время как сам убийца знает лишь одну строчку пушкинского стихотворения. 3. Признанием в убийстве подтверждается нравственная заповедь «не убий», имеющая в виду частное поведение человека. «Значит, вырвавшийся вперед протуберанец возвращается в материнское лоно» (2,521). Следовательно из дилеммы: «погасить свет в глазах противника. Уничтожить условия, при которых он может возникнуть в чьем-либо зрачке. Приобрести его самому» (2,520) Векшин обязан выбрать последнее. В обратном случае он идет к отрицанию материнского лона, по второму принципу сближается с Чикилевым, по

¹⁷ Л. М. Леонов. Литература и время (избранная публицистика). Изд. «Молодая гвардия», М., 1967, стр. 347.

первому — с Аггеем, а значит, опять придёт к отрицанию завета «не убий». Таким образом, признание своей вины вручает Векшину в руки блестинку культурного наследия: только при этом условии повернет он к свету, знанию, людям. Но опять же признание ценности неповторимого человеческого бытия приводит героя к идее активного гуманизма, к осторожности в обращении с людьми, иначе это возвращает героя к абстрактной идее любви к человечеству, и по линии Таня, Санька, Маша, Ксения, Зинка будет нарушена идея о ценности человеческой жизни.

Значит, признавать «зеркальное право» другого на счастье и на равную тебе святость жизни предполагает позицию активного гуманизма, сердечной общности людей. Но на этом же пути находится и государство, т. к. величие его идеи требует внимания к человеку. Значит, и снизу вверх и сверху вниз идет совпадение личных и общественных интересов человека, увеличивается площадь соприкосновения идеологии и психологии.

Кроме того, Векшин—Смуров сам поднимается до осознания страшной сущности отсложения от сложившегося братства, рассматривает индивидуализм как нравственную философию своего падения. «Человек бывает лишь когда его много, а без того он либо царь, либо зверь, либо вор, вроде меня» (2,521).

Поэтому, подгоняемый со всех сторон, движется фирсовский Векшин к берегам «всесибирской реки», где с трудом возвращал себе людскую дружбу... «был отправлен на учебу куда-то, потому что вся страна тогда садилась за школьную парту» (2,618).

Таким образом, и Леонов, и Фирсов разными путями подошли к одной и той же истине, к одной и той же точке возрождения героя. В романе как бы сливается историческое обоснование идеи и логическая доказанность ее.

Но ведь при определенных условиях логическое совпадает с историческим. Логическое — это историческое, очищенное от случайного в его самых существенных закономерностях. «С чего начинается история, с того же должен начинаться ход мыслей и его дальнейшее движение будет не что иное как отражение исторического процесса»¹⁸... Но ведь Фирсов исходит из верных исторических посылок. Это необходимость культурной революции, преемственность гуманистических идей, исторический процесс как восхождение к высшему благу. Поэтому и оказалось возможным и его логическое доказательство о необходимости культурной революции, новых форм человеческой морали.

Но в заключение следует оговориться, что в объективном звучании Векшин включает в себя и костяк философских размышлений, и со-

¹⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. соч. в двух томах, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 332.

циальное движение, и нравственное покаяние, также подгоняем логической и исторической причинностью. Следовательно, нам остается только заново сомкнуть обе половинки, давая и той и другой «пылать и плавиться». Вот только утреннюю романтическую пыльцу вернуть нельзя, она для нас безвозвратно утеряна.

*Шауляйский
нединститут*

Декабрь, 1971 г.

DĖL GINČŲ APIE L. LEONOVŲ ROMANĄ „VAGIS“

A. LYSOVAS

Re z i u m ė

Pastaruoju metu kilę ginčai dėl pirmojo L. Leonovo „Vagies“ varianto paaiškinami antrosios redakcijos pasirodymu. Teigiamai vertindama naująjį romano variantą, kritika linkusi laikyti pirmąjį jo variantą autoriaus klaidų ir klaidžiojimų įkūnijimu, randa jame pasąmonės ir stichinio prado kultą, pabrėžia veikėjų charakterių socialinio sąlygotumo nebuvimą.

Straipsnyje pažymima, kad toks traktavimas paaiškinamas kai kurių kritikų per dideliu susižavėjimu logine romano schema ir visišku iškelty pirmajame „Vagies“ variante socialinių problemų ignoravimu. Nurodoma, kad pirmoji „Vagies“ redakcija yra L. Leonovo apmąstymų apie naujo žmogaus formavimąsi išdava. Kaip tik tai ir sieja romaną su aktualiais epochos klausimais. Pirmojoje redakcijoje naujo žmogaus atsiradimą sąlygoja herojaus pripažinimas senųjų humanistinių koncepcijų, teigiančių kiekvieno žmogaus vertingumą ir nepakartojamumą. Naujos siužetinės-kompozicinės sandaros dėka antroje romano redakcijoje naujo žmogaus atsiradimas galimas tiksliai įsisavinus socialistinę moralę, kuri, savo ruožtu, yra senų humanistinių idėjų tąsa. Tačiau abiejose „Vagies“ redakcijose herojus pasiekia naują dvasinio išsivystymo lygį, veikiamas loginio ir istorinio priežastingumo dėsnų.

TO THE ARGUMENTS ABOUT LEONOV'S NOVEL “THE THIEF”

A. LYSOV

S u m m a r y

Arguments that have arisen lately about “The Thief” by L. Leonov were caused by the publication of its second version. Positively estimating this new version of the novel critics are apt to consider that the first version was the result of the author's mistakes; the absence of social determination of the characters is underlined.

The article shows that the first version of “The Thief” is the result of Leonov's meditation about the formation of new man. This problem joins the novel with actual questions of the epoch. In the first wording the appearance of new man is determined by the hero's acceptance of old humanistic conceptions which affirm value and individuality of man. In the second wording of “The Thief” the appearance of new man is possible only after his adoption of socialist moral which is, in its turn, the continuation of the old humanistic ideas. However, in both versions of “The Thief” the hero's new spiritual level is due to the laws of logical and historical causality.